



ФИЛОСОФЫ

Л. И. ШЕСТОВ

Что такое русский большевизм?

I

С тех пор, как я приехал в Европу — все, и соотечественники, и иностранцы, с которыми приходится встречаться, неизменно предлагают вопрос: «Что такое русский большевизм, что происходит в России? Вы все видели непосредственно, своими глазами — расскажите нам, мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Расскажите все и по возможности спокойно и беспристрастно».

Спокойно говорить о том, что сейчас происходит в России, трудно, если хотите — невозможно. Может быть, удастся быть беспристрастным. Правда, пятилетняя война приучила нас ко всяким ужасам. Но ведь в России происходит нечто худшее, чем война. Там люди убивают не людей, а свою собственную родину. И совершенно не подозревают, что делают. Одним кажется, что они делают великое дело, спасают человечество, другие вообще ни о чем не думают: просто приспособляются к новым условиям существования, принимая в соображение лишь собственные интересы сегодняшнего дня. Что будет завтра, — им все равно, они не верят в завтра, как не помнят, что было вчера. Таких людей в России, как впрочем, и везде, огромное, подавляющее большинство. И, как это ни странно на первый взгляд, — они, эти люди сегодняшнего дня, всецело погруженные в свои мелкие ничтожные интересы, творят историю; в их руках будущее России, будущее человечества и всего мира.

Это как раз менее всего понимают идейные вожди большевизма. Казалось бы, что ученики и последователи Маркса, заимствовавшего свою философию истории у Гегеля, должны были бы быть более проницательными. По крайней мере, должны были бы знать, что история не сочиняется в кабинетах и что жизнь нельзя обрамить, как кусок холста в дерево, в произвольные декреты. Попробуйте сказать это идейному «голубоглазому» большевику: он даже

не догадается, о чем вы ему говорите. А если сообразит, то ответит вам, совсем как отвечали когда-то, при царях, публицисты из «Нового времени» и других газет, бравших на себя печальную задачу идейного обоснования крепостнического режима: «Это все доктринерство». История, Гегель, философия, наука — политический деятель свободен от всего этого. Политический деятель по своему непосредственному разумению решает судьбы вверенной ему страны. Рассказывают про Николая I, что, когда ему представили проект железной дороги между Москвой и Петербургом, он, не входя в разбор, чем руководствовались инженеры, избирая направление железнодорожной линии, — провел на карте ногтем прямую линию между двумя столицами, и так сразу и просто разрешил трудный вопрос. Так же решают все вопросы и современные вершители судеб России. И если режим Николая I, равно как большинства его предшественников и преемников, заслуживает по всей справедливости названия непросвещенного деспотизма, — то еще с большим правом можно охарактеризовать этим словом режим большевиков. Это — деспотизм, причем — усиленно подчеркиваю — деспотизм непросвещенный. Большевики не верят, совсем так же, как и русские политические деятели недавнего прошлого, не только в добродетель (такого рода скептицизм, как известно, разрешается политикам), они не верят в знание, не верят даже в ум. Добросовестные хранители истинно русских политических традиций, традиций еще свежего у всех в памяти крепостного периода русской истории — они верят только в палку, в грубую физическую силу. Подобно тому, как еще недавно, перед войной, в Государственной Думе правые депутаты, типа Маркова и Пуришкевича, высмеивали «слюнвявый гуманизм» и на все попытки оппозиции хоть отчасти выбить наших прежних министров и государственных деятелей из проторенной колеи реакции отвечали угрозами, виселицами и тюрьмой, так и нынешние комиссары знают только одно возражение: «чрезвычайка». И убеждены, что в этом слове заключается вся глубина государственной мудрости. Разные свободы, неприкосновенность личности и пр. — все это пустые выдумки европейских ученых доктринеров, мы в России обойдемся без свобод и без неприкосновенностей. Издадим сотню или тысячу декретов, и нищая, безграмотная, невежественная, беспомощная страна сразу станет богатой, образованной, сильной, и весь мир сбежится, чтобы дивиться ей, и с благоговением станет перенимать у нас новые формы государственного и социального управления. Россия спасет Европу — в этом убеждены все «идейные» защитники большевизма. И спасет именно потому, что в противоположность Европе она верит в магическое

действие слова. Как это ни странно, но большевики, фанатически исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что «слово» имеет сверхъестественную силу. По слову все делается — нужно только безбоязненно и смело верить слову. И они вверились. Декреты сыплются тысячами. Никогда еще ни в России, ни в какой-либо иной стране столько не говорили, сколько у нас говорят сейчас. И никогда еще слова не были так уныло однообразны, так мало не соответствовали действительности, как в наши дни. Правда, и при крепостном праве, и при Александре III, и при Николае II, говорили немало, обещали немало; правда, и при старом режиме несоответствие между словами и делами правительства вызывало негодование и возмущение у всех, кто умел заглядывать даже в ближайшее будущее. Но то, что теперь происходит, переходит всякие границы даже вероятного. Города и деревни буквально вымирают — от голода и холода. Страна истощается не по дням, а по часам. Взаимная ненависть и ожесточение не классов, как хотелось бы большевикам, а всех против всех непрерывно растет, а перья чиновников-публицистов продолжают выводить на бумаге всем опостылевшие слова о грядущем социалистическом рае. Как оппозиция ненавидела Столыпина, когда он провозгласил свой девиз: сперва успокоение, потом реформы! Деятели большевизма повторяют Столыпина. Они тоже хотят сперва «успокоить» страну, чтобы потом дать «реформы», в такой же малой мере, как министр Николая II, догадываясь, что никогда еще успокоение не приходило от «чрезвычайных» комиссий и никогда зверство и расправа без суда не приносили мира государству.

II

Я назвал большевиков идеалистами, и я же сказал, что они не верят ни во что, кроме грубой физической силы. На первый взгляд — это как будто бы два противоположных утверждения. Идеалист верит в слово, стало быть, не в физическую силу. Но противоречие здесь только видимое. Как это ни парадоксально — но можно быть идеологом и грубой физической силы. В России же правящие круги всегда именно идеализировали физическую силу. Когда на смену царю пришло Временное правительство с князем Львовым сперва, а потом с Керенским во главе, многим показалось, что наступила новая эра. И действительно, несколько месяцев подряд Россия представляла собой поразительную картину. Огромная страна, раскинувшаяся на сотни тысяч квадратных километров,

с почти двухсотмиллионным населением — и без всякой власти. Ведь уже в марте месяце 1917 года распоряжением центрального правительства сразу во всем государстве была отменена полиция и на место полиции не поставили никого. В Москве шутили: мы живем теперь на честное слово... И точно, жили довольно долго на честное слово, и сравнительно жили благополучно. Временное правительство избегало всяких сколько-нибудь крутых мер, предпочитая действовать словами убеждения. Нужно дивиться, что, несмотря на такое исключительное положение, жизнь в России до большевистского переворота все-таки была сносной. Можно было ездить и по железным, и по шоссейным, и по проселочным дорогам, без удобств, правда, но и без риска — или без большого риска — быть ограбленным и убитым. Даже в деревнях не грабили помещиков. Землю захватывали мужики, — но владельцев, их дома и личное имущество редко трогали. Я провел лето 1917 года в деревне Тульской губернии, и хотя знакомый помещик, у которого я жил, был одним из самых крупных землевладельцев в уезде, у него никаких особенных неприятностей с крестьянами не было. Я сам два раза ездил на лошадях из имения на станцию — почти 25 верст, и другие ездили — и все поездки кончались благополучно. Все это, по-видимому, внушало центральной власти уверенность, что ее сила — есть сила правды и что можно, в противоположность прежним приемам управления, добиваться и добиться порядка не мерами организованного принуждения, а одними увещеваниями... Керенский даже надеялся вести в бой солдат, не признающих дисциплины. Но так было только при Временном правительстве, стремившемся поставить на место силы правду. И в этом отношении нужно сказать, что Временное правительство и в самом деле задавалось целью неслыханно революционной: создать в России государство праведников — что-то вроде того, о чем мечтали и писали гр. Толстой, кн. Кропоткин, что, по-видимому, не чуждо было нашим славянофилам. Я, конечно, знаю хорошо, что ни кн. Львов, ни Милюков, ни Керенский не были настолько наивны, чтобы стремиться сознательно к осуществлению в России анархического идеала. Но фактически они поощряли анархию. Правительство у нас было — но власти не было. И составляющие правительство люди своими именами прикрывали безвластие. Когда нужно было выбирать между приемами управления, которыми пользовались царские чиновники, и бездействием власти, Временное правительство предпочитало последнее. Найти же что-либо новое, иное, — оно не умело. И большевики, сменившие Временное правительство, стали перед той же дилеммой. Либо царские приемы, либо безвластие. Безвластие большевиков со-

блзнить не могло — пример Временного правительства показал всем, что безвластие далеко не такая безопасная вещь, как это сначала казалось многим в России. Но придумать что-либо свое — большевики тоже не сумели. Со смелостью, которая свойственна людям, не сознающим всей серьезности и ответственности принимаемой ими на себя задачи, большевики решили — целиком и во всем следовать заветам старой русской бюрократии. В этот момент для всех сколько-нибудь проникательных людей сразу выяснилась сущность большевизма и его будущее. Выяснилось, что революция раздавлена и что большевизм, по своей внутренней сущности, есть движение глубоко реакционное. Что он есть шаг назад даже сравнительно с режимом Николая II, ибо в короткое время большевики поняли, что уже приемы Николая II для них не годятся, что им необходимо принять государственную мудрость Николая I, даже Аракчеева. Самым ненавистным словом для них стало слово «свобода». Они быстро поняли, что в свободной стране им управлять не дано, что свободная страна с ними не пойдет, как она не хотела никогда идти ни с Николаем I, ни с Александром III, ни с Николаем II. Для француза или англичанина такое положение показалось бы совершенно неприемлемым. Он знает твердо, что в стране, где нет свободы, не может быть ничего хорошего. Но русские большевики, воспитавшиеся на крепостническом царском режиме, говорили о свободе только до тех пор, пока власть была в руках у их противников. Когда же власть перешла в их руки, они, без малейшей внутренней борьбы, отказались от всяких свобод и даже развязно объявили саму идею свободы буржуазным предрассудком, драгоценным для старой развращенной Европы, но совершенно бесценным для России. Правительство, власть знает, что нужно народу для его блага — чем меньше спрашивать народ, тем больше и прочнее его «счастье». Если бы давно умершие Аракчеев и Николай I восстали из гробов своих, они могли бы идейно торжествовать: русская оппозиция при первой попытке осуществить свои высокие задания должна была признать правоту старого русского государственного идеала.

Кто хочет понять то, что происходит сейчас в России, должен особенно внимательно остановиться на первых проявлениях государственного творчества большевиков. Все, что они впоследствии делали, находится в теснейшей связи с их первыми актами. Здесь в Европе, да отчасти и в России, многие склонны думать, что большевизм есть некоторое новаторство и даже огромное новаторство. Это — ошибка, большевизм ничего не сумел создать и ничего не создаст: в этом его тягчайший грех перед Россией и перед всем миром, поскольку Россия связана экономически, политически, морально

с остальным миром. Большевизм не создает, а живет тем, что было до него создано. В своей внутренней политике, как я уже сказал, он взял готовые идеи у Аракчеева и Николая I; и во внешней политике он был столь же оригинален. Начиная с заключенного им Брест-Литовского мира и кончая его попытками выработать соглашение с Европой, о которых теперь так много говорят в газетах, во всем, что он делал, мы наблюдаем давно нам знакомые приемы азиатской политики Абдул-Гамида. Россия, замученная, беспомощная, разъедаемая внутренними раздорами, не может ничего себе потребовать, не может ничего и дать. Остается одно: как-нибудь ссорить между собой государства Западной Европы. Сноситься одновременно и с Англией, и с Францией, и с Италией, и с Германией, в расчете, что интересы этих стран слишком различны и противоположны и что в конце концов если удастся их столкнуть между собой, то можно будет извлечь из их столкновения большую или меньшую пользу. Абдул-Гамид тридцать лет таким способом «спасал» Турцию: народ бедствовал, но султан держался, страна ослабевала и шла к гибели, но неограниченная власть династии не терпела ущерба. Тридцать лет — для большевиков такой срок кажется вечностью. Они и за более короткое время успеют добиться своей цели. Какой? Об этом речь впереди.

III

Пока мне хотелось бы выявить одну, наиболее, по-моему, характерную черту большевистской сущности. Большевизм, повторяю, реакционен; он не умеет ничего создавать. Он берет то, что у него под рукой, что без него сделали другие. Короче: большевики — паразиты по самому своему существу. Конечно, большевики этого не сознают и не понимают. Да если бы и поняли, то едва ли бы согласились открыто признаться в этом. Но во всех областях, которых коснулась их деятельность, сказалась их основная особенность. Они сами формулируют свою задачу так, что сперва нужно все разрушить, а потом лишь начать создавать. Если бы идейные, голубоглазые большевики умели задумываться над своими словами, они бы ужаснулись им. Я уже не говорю о том, что такая формула идет совершенно вразрез с основным учением социализма. Само собой разумеется, что Маркс не признал бы в людях, возвестивших такую программу, своих учеников и последователей. Маркс полагал, что социализм есть высшая форма хозяйственной организации общества, с такой же железной необходимостью вытекающая из предыдущей буржуазной организации, с какой буржуазное хозяйство следовало за феодальным...

И социализм не только не предполагал разрушение буржуазной организации хозяйства — он, наоборот, предполагал полное сохранение и совершенную неприкосновенность всего, что было создано предыдущим строем. Задача социализма, соответственно этому, представлялась Марксу как задача созидательная. Превратить буржуазное хозяйство в хозяйство социалистическое значило, путем перехода к высшей, улучшенной организации производства, не разрушить, а увеличить производительность страны; это была задача положительная. От нее большевики сразу отказались, ибо, очевидно, чувствовали, что не их дело создавать. Гораздо проще, легче и доступнее существовать за счет того, что раньше было сделано. И большевики ведь в сущности ничего не разрушают. Они просто живут тем, что нашли готовым в прежнем хозяйственном организме. Когда Ленина кто-то упрекнул в том, что большевики занимаются грабежом, он ответил так: «Да, мы грабим, но мы грабим награбленное». Пусть это будет верно, пусть и в самом деле большевики отнимают лишь то, что раньше было насильно захвачено, но от этого дело не меняется. Большевики все же остаются паразитами — ибо, ничего не прибавляя к прежде созданному, питаются соками того организма, к которому они присосались. Как долго можно так существовать, сколько времени может питать Россия большевиков — не берусь сказать. Может быть, долготерпение и выносливость нашего отечества обманет все наши расчеты. Чего не выносила Россия? Какие паразиты не питались ее соками? Не стану вспоминать дальнейшее прошлое — татарское иго, не стану вспоминать и XVIII век, царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Но даже XIX век в этом смысле был ужасен. Русская бюрократия, бесконтрольно распоряжавшаяся Россией и всем русским народом, всегда исходила из мысли, что чиновники должны повелевать, а население должно повиноваться. Про Николая I-го рассказывают, что, когда во время Севастопольской компании, один из его министров сказал ему, что следовало бы в газетах опубликовать более подробные сведения о ходе войны, ибо жители Петербурга встревожены и волнуются, он ответил: «Волнуются! А им какое дело?». Николай I среди своих чиновников был *primus inter pares*¹. Каждый из чиновников был убежден, что население, обыватели, — слова «гражданин» Россия никогда не любила и не признавала, — только объект его начальнических распоряжений. Население должно быть счастливо тем, что у него есть хозяева, воплощавшиеся в едином высшем хозяине, царе. Иностранцам труднее всего, вероятно, будет понять такой порядок вещей. Но пока этого не поймут, не поймут, что такое большевизм. Русская бю-

рократия всегда была паразитарной. Больше того, не только правящие классы, но все высшее русское общество в большей или меньшей степени вело существование паразитов. Я помню, что когда появились первые отчеты фабричных инспекторов, — я тогда был еще студентом, — известный в России ученый, профессор Янжул, фабричный инспектор Московского округа, так формулировал свои впечатления от всего того, что видел он на фабриках и заводах своего округа: «Русский промышленник стремится получать свои заработки не как промышленник, т. е. не посредством улучшения способов производства, а каким угодно другим путем, главным образом путем бессовестной и обманной эксплуатации рабочих». Или еще факт, который, пожалуй, покажется совершенно невероятным для тех, кто не знает условий русской жизни. Граф Толстой в своих посмертных произведениях рассказывает, что, когда он в молодости задумал приобрести новое имение, он старался купить его в таком месте, где живут безземельные крестьяне. «Таким образом, — рассказывает он, — я бы мог иметь нужных мне рабочих задаром». Паразитизм был характерен для высших слоев общества дореволюционного периода — новые дворяне, т. е. те, кто присоединился к теперешнему правительству, в этом отношении сильно превзошли прежних дворян, так что и в этом смысле большевизм не оригинален. Большевики сделали все, что могли сделать, чтобы помешать революции в ее основной задаче: раскрепостить русский народ. Совершенно очевидно, что даже дело разрушения в сущности им не удалось. Они истребили большую часть народного достояния, они погубили в тюрьмах и чрезвычайках немалое количество прежних министров, губернаторов и богатых людей. Об этом я распространяться не стану — все знают, как работают латышские чрезвычайки и китайские солдаты. Но ни бюрократии, ни буржуазии они не уничтожили. Какое уничтожили! Никогда еще в России бюрократия — и какая бездельническая, жалкая, никчемная бюрократия — не плодилась с такой неслыханной быстротой. В каждом учреждении — по крайней мере, в десять раз больше людей, чем нужно для поставленных ему целей. И на десять учреждений есть едва ли одно, которое в самом деле для чего-нибудь нужно. Все, и молодые, и старые, и мужчины, и женщины, служат. Большевики убеждены, что кто не служит — тот вреден и опасен для государства, и всячески преследуют людей, не находящихся на службе. Таких лишают пайков, облагают разного рода налогами и сборами, забирают на военную службу и т. д. Ну, и идут служить — тем более что образованные люди совершенно лишены всякого рода заработков, кроме заработков с жалования. Чернорабочий или вообще человек,

обладающий крепким здоровьем и физической силой, еще может пойти в деревню, где для него найдется дело, и вместе с делом кров и кусок хлеба. Образованный же человек — учитель, врач, инженер, писатель, ученый — обречен на голодную смерть, если он не согласится увеличить своей персоной и без того огромные полчища паразитов — чиновников. Ну, а буржуазия-то ведь истреблена! — скажут мне. Нисколько! Истреблены прежние буржуи. Фабриканты, купцы и все их наиболее крупные сотрудники в большинстве либо погибли, либо разбежались. Но буржуазия в России крепче и многочисленнее, гораздо многочисленнее, чем была прежде. Теперь все почти крестьяне в России — буржуи. У них хранятся, закопанные в земле, сотни тысяч, даже миллионы царских, керенских, советских, украинских, донских и иных денег. И у них вы богатств не вырвете. Причем новая буржуазия совсем уже не имеет никаких традиций, которые хотя до некоторой степени связывали аппетиты буржуазии старой. Я не спорю, Россия всегда была страной бесправия *par excellence*. Царские министры типа Щегловитова, Маклакова и т. п. никогда не понимали, какая великая творческая сила в государстве прочное народное правосознание. Они самым бессовестным образом на каждом шагу оскорбляли народ в его понятиях о праве и нравственности. В России не было не только милостивого и скорого, но и правого суда. Судебные уставы Александра II очень скоро стали казаться его министрам тяжелыми цепями, которые они, соблюдая относительно внешний декорум, — постепенно сбрасывали с себя. Народ это отлично понимал. Он знал, зачем создавался институт земских начальников, для чего вводились розги в деревне и т. п. и ненавидел навязанные ему внешней силой учреждения и начальство. Но в глубине народного духа жила вера в правду, та вера, которая нашла себе выражение в лучших произведениях русской литературы. Даже казалось, что народ и в царя верит, и его считает жертвой окружающих его дурных советников. Но, когда вспыхнула революция, сразу стало ясно, что в царя народ уже не верит. Как это ни странно, но ведь во всей огромной России не нашлось ни одного уезда, ни одного города, даже, кажется, ни одного села, которое встало бы на защиту свергнутого царя. Ушел царь — скатертью дорога, и без него обойдемся. Правда, которую искал народ, не у царя, а в ином месте, у тех, которые боролись с царем. Этим и объясняется колоссальный успех, выпавший в начале революции на долю социалистов-революционеров. У них правда, они за народ страдали — таков был общий голос; и женщины, девушки, старики — все бежали к урнам голосовать за праведников и мучеников за народ. Все вопросы

хотели разрешить по правде и справедливости во славу святой Руси. Социалисты-революционеры торжествовали. Бескровная революция, — вот она Россия — не то, что гнилая Европа!

IV

Но тут-то и сказала во второй раз политическая беспомощность и бездарность той части русской интеллигенции, которая наследовала после свержения царя власть. Временное правительство, как я говорил, ничего не умело сделать. Оно царствовало, но не правило. За его спиной правили Советы, которые, хотя ничего положительного не делали, но вносили в страну максимум разрухи. В Советах шла борьба между социалистами-революционерами с одной стороны и большевиками — с другой. Обе борющиеся стороны апеллировали к народу. Народ же несколько месяцев подряд безмолвствовал. Он ждал, что правительство найдет способы переустройства страны соответственно тем идеалам права, которые жили в народной душе. Но правительства не было, а были борющиеся партии, которые менее всего были подготовлены к управлению. Народа и его нужд никто не знал, и знать не хотел. Заботились только о том, кому достанется власть. И так как все-таки полагали, что власть достанется тому, кто сумеет расположить к себе большинство населения, то между партиями началось особого рода соревнование: кто скорее и больше сумеет наобещать народу. Обещали без конца. То разрешали народу захватывать землю, то инвентарь помещичий, то дома, то даже самих помещиков. Все ваше — берите, таково было последнее слово представителей партий. И народ понемногу стал приходить к убеждению, что все его идеалы и все его «правосознание» не стоит выеденного яйца. И прежде так было, и теперь так осталось, что прав тот, у кого есть когти и зубы, кто раньше и крепче сумеет захватить. Пока были у власти бары — они были правы, теперь бар согнали — кто станет на их место, тот и сам станет барином, дворянином. Таким образом, социалисты всех толков, в пылу борьбы между собой, совершенно не заметили и, кажется, еще до сих пор не замечают, что они сделали прямо противоположное тому, что они хотели сделать. Их задача была в том, чтобы ввести в народное сознание идеал высшей социальной правды — а они изгнали из души народа всякое понятие о правде. У нас политические деятели всегда были плохими психологами. Никто и не подозревал, да и до сих пор не подозревает, какое огромное значение в деле социального устройства имеет народное правосознание. Я знаю, что большевики много разговаривают о классовой психологии. Но это в их устах

слова, не имеющие для них никакого значения. В России точно возможны были колоссальные реформы. Нужно заметить, что уже в первые годы войны в нашем отечестве произошел колоссальный сдвиг той черты, которая отделяла беднейшее население от состоятельных классов. В 1915 и особенно в 1916 году мне пришлось ездить по России и много жить в деревнях, и я был поражен происшедшими там переменами за столь короткое время. Запуганный, голодный, бедный мужик, каким его рисовали наши писатели и каким он был и на самом деле еще в 1914 году, — исчез. Прежде, бывало, из-за нескольких рублей, которые нужно было отдать старосте за подати, мужик шел буквально в кабалу к мироеду. А теперь ему деньги совсем не нужны. У него не купишь ни яиц, ни масла, ни курицы, — разве очень дорого заплатишь. На вопрос: отчего не продаете, — один ответ: сами едим, ребятам нужно. Да оно и понятно. С начала войны деньги стали отовсюду стекаться в деревню — ведь все, что нужно было для фронта, у крестьян брали. А затем — отмена водки. Мужики за водку отдавали в казну ежегодно миллиард рублей золотом. И, сверх того, пьянство приносило деревне убытков еще вдвое, ибо русский мужик отдавал что угодно за бесценку, когда ему нужно было добывать водку, а денег не было. И вот все эти миллиарды остались в кармане мужика, и в самое короткое время он освободился от той ужасной зависимости от кулаков, в которую он попадал вследствие недостатка денег. Помню любопытный разговор, который был у меня с кучером того помещика, в имении которого я жил в 1916 году: «Что это, барин, такое стало. С мужиком сладу нет. Если что нужно, он сейчас: дай мне пять рублей, дай десять. Беда! То ли дело прежде: поставишь старикам ведро — какое угодно дело сладишь!» Уничтожили «ведро», и мужик эмансипировался. Ни одна социальная революция не могла бы принести русскому мужику того, что дала отмена монополии. Иначе говоря, совсем необычным путем в России подготавливалась колоссальная революция, и политическая, и социальная, — но то, что произошло на самом деле, благодаря тому, что захватили власть теоретики революции, иначе решило грядущие судьбы нашей страны.

Я сам не читал и не помню даже, как называется эта книга и кто ее автор. Но мне передавали, что какой-то английский писатель выпустил целую книгу о том, что Россия избрала себе роль Марии, в противоположность Европе, которая предпочла роль Марфы. Конечно, все такого рода обобщения следует принимать *cum grano salis*², но доля правды, и очень любопытной правды, в этом есть. И интеллигенция русская, и русский народ слишком погружен в заботы о граде небесном, а о земных интересах не умеют и, глав-

ное, не любят думать. В первое время после свержения царя, когда еще Россия праздновала медовый месяц всяких свобод и когда все представители всех партий, не стесняясь, высказывали все, что думали, это особенно поражало. Куда бы вы ни пришли, всюду шли разговоры о высоком назначении России. Не об устройении России — об этом никто не умел и не хотел думать. Всякие напоминания об устройении вызывали взрыв негодования. Не думайте, что я имею в виду среднего интеллигента или зеленую молодежь. Мне приходилось встречаться с наиболее выдающимися представителями мыслящей России — и я не вспомню ни одного, который бы хоть раз заговорил о том, как остановить уже тогда явно надвигавшуюся на страну беду. У нас, как и везде, конечно, и даже больше, чем везде, можно насчитать множество самых разнообразных течений мысли. Есть у нас верующие христиане, есть у нас позитивисты, материалисты, спиритуалисты — все, что угодно, есть. Каждый русский писатель, прежде всего, философ. Даже политический деятель и партийный человек очень озабочен философским обоснованием своих суждений. И, повторяю, разнообразие философских взглядов у нас бесконечно. Но в одном все сходятся. Я не хочу называть имен, тем более что они, пожалуй, иностранцам мало скажут, но, говорю, все писатели больше всего боялись, как бы не случилось, что Россия вдруг устроилась бы в земном смысле благополучно. «Я не хочу, ни за что не хочу царства Божия на земле», — кричал вне себя от бешенства представитель русской христианской мысли. «Пусть лучше Россия погибнет, чем устроится по-мещански, наподобие отвратительной старой Европы», — с не меньшим пафосом восклицал партийный деятель из крайних левых. А один из наиболее чтимых в России поэтов не постеснялся в присутствии большого числа людей — тоже писателей — так закончить свою речь: «Царя мы свергли. Но еще остался царь здесь (он показал на свою голову). Когда мы из головы изгоним царя — тогда только наше дело будет доведено до конца». Все, что я рассказал, не включает в себе ни на йоту преувеличения. Ненависть к «мещанству», или, вернее, к тому, что в России принято называть мещанством, — пароль всей русской литературы, всей, если хотите, мыслящей России. Первый ввел это слово Герцен, знаменитый русский революционер, всю жизнь свою проведший в Европе изгнанником. Он уехал при Николае I из России, рассчитывая на Западе найти осуществление своих заветных идеалов. Но там, где он ждал идеалов, того, что, выражаясь языком блаженного Августина, можно назвать *amor deiusque ad contemptum sui*, он нашел только мещанство, *amor sui usque ad contemptum dei*³. В европейских государствах изгоняли ца-

рей, но в голове европейца царь оставался жить. Думали не о небе, а о земле, устраивались и на сегодня, и на завтра. Боролись с бедностью, холодом, голодом, эпидемиями, заводили фабрики, заводы, железные дороги, парламенты, суды. Казалось, того и гляди, люди устроятся, и на земле водворится царство Божие. Что может быть страшнее?!.. Конечно, европейцы покачивают головой. Они знают, что опасения Герцена, по крайней мере, должны быть названы преувеличенными. Европе до царства Божия и прежде далеко было, да и сейчас не близко. Со своей стороны скажу, что и страхи русских были лишены всякого основания. Конечно, если бы ограничились только свержением царя с престола, а в головах царь остался, мы бы не дошли до тех ужасов, до которых дошли. Россия сохранила бы свое единство, не развалилась бы. Народ не умирал бы от голода, холода и эпидемий. Крестьяне и рабочие вздохнули бы свободней, раскрепощенные от векового рабства. Но разве это царство Божие? Разве мало бы осталось трудностей и страданий на долю русского человека и в обновленной России? Разве даже мещанская Европа так благоденствовала? Европейцев, конечно, в этом убеждать не приходится. Но русские люди, кажется, и до сей поры остались при своем мнении.

V

Может быть, после этого отступления станет яснее, почему я назвал большевиков паразитами. По самому существу своему они не могут создавать и никогда ничего не создадут. Идейные вожди большевизма могут сколько угодно склонять и спрягать слова «созидание» и «созидать» — к положительному творчеству они абсолютно не способны. Ибо дух крепостничества, которым проникнута вся их деятельность и даже вся их упрощенная идеология, убивает в зародыше всякое творчество. Этого не понимали деятели царского режима, этого не понимают и большевики — хотя, пока они были в оппозиции, они много раз в Думе и в своих подпольных изданиях говорили на эту тему. Но эти разговоры забыты так, как будто их никогда не было. Сейчас в России есть только казенные газеты и казенные ораторы. Только тот может писать и говорить, кто восхваляет деятельность правящих классов. Ошибочно думать, что рабочие и крестьяне, от имени которых говорят большевики, в этом отношении имеют хоть какое-нибудь преимущество перед другими классами. Преимуществами пользуются, как и при старом режиме, только «благонадежные» элементы, т. е. элементы, безропотно или еще лучше охотно подчиняющиеся распоряжениям правительства. Для тех же, кто протестует, кто смеет иметь свое

суждение, — нет сейчас места в России — еще в большей, во много большей степени, чем это было при царях. При царях можно было все-таки хоть на эзоповом, как у нас выражались, языке говорить, не рискуя свободой и даже жизнью. А молчать никому не возбранялось. Теперь и молчать нельзя. Если хочешь жить — нужно высказывать свое сочувствие правительству, нужно хвалить его. Понятно, к каким результатам приводит такое положение вещей. Огромное количество бездарных и бессовестных людей, которым все равно, кого хвалить и что говорить, всплыло на поверхность политической жизни. Это знают сами большевики и сами ужасаются тому, что произошло. Но ничего не могут поделать и ничего поделать нельзя. Честные, добросовестные и даровитые люди по самому существу не мирятся с рабством. Им, как воздух, нужна свобода. Большевики этого не понимают. Расскажу любопытный случай из практики моего общения с большевиками. Однажды — это было летом прошлого года, в Киеве — швейцар нашего дома подает мне большой серый конверт с надписью «товарищу Шестову». Догадываюсь, что приглашают на собрание. Открываю, и точно: зовут на собрание, в котором предполагается обсуждение вопроса о «диктатуре пролетариата в искусстве». В назначенный день и час являюсь. Собрание открывает журналист Р., довольно известный на юге России, высокий, худой человек, с типическим лицом русского интеллигента. Говорит легко и складно: видно, привык выступать. С первых уже слов, не называя моего имени, прямо обращает внимание на то, что я присутствую на собрании — очевидно, желая заставить меня высказаться. Но я не беру слова; жду, что будет. Начинаются прения. Высказывается, конечно, очень сдержанно, оппозиция. Говорят писатели, журналисты, берет слово даже известный поэт. Все на тему о свободном искусстве. Затем просит слова себе представитель, не помню, какой военной организации. Маленький человек, хромой, с большой черной бородой. С первых же слов выясняется, что это — совершенно необразованный человек, гораздо ближе стоявший к лабазу или мелкой лавчонке, чем к какому бы то ни было искусству. Из тех людей, про которых говорят, что они не умеют отличить статуи от картины. Такому бы человеку, пожалуй, было бы полезно прийти на собрание, чтобы послушать, поучиться. Но с самоуверенностью, свойственной невежеству и бездарности, он хочет не учиться, а учить. И чему он учил? «Железной рукой, — сказал он, — мы заставим писателей, поэтов, художников и т. д. отдать свою технику на служение нуждам пролетариата». Речь была неумелая, длинная, скучная и бессвязная — но тема все время одна: принудим, заставим, вырвем эту «технику» и используем

ее. Ему отвечали (хотя я с трудом понимаю психологию тех, которые ему отвечали, я сам даже не понимаю, как можно серьезно считаться с такими пошлыми и безграмотными заявлениями) — он еще раз говорил с насмешливой и презрительной улыбкой человека, знающего себе цену. После него выступил председатель. Этот, как я говорил, уже опытный оратор. В длинной, хорошо построенной речи он заявил, что, конечно, он понимает оппонентов. Они защищают недавнее прошлое, по-своему красивое и интересное. Но оно — прошлое, навсегда погребенное. Ураган великой революции смел все старое. А тот хромой, чернородый человек, ратовавший за то, чтобы «железной рукой» вырвать «технику» у представителей искусства, — он провозвестник будущего. «Я сам, — продолжал председатель, — не так давно был поклонником V века эллинской культуры. Теперь я понял, что был в заблуждении. Ураган революции смел старые идеалы. Я был тоже, — неожиданно для меня закончил свою речь председатель, — читателем и (тут следовал ряд очень лестных для меня слов, которые я опускаю) произведений Л. Шестова (он назвал меня при всех полным именем), но опять таки ураган и т. д.». Я не был расположен говорить — но, когда мое имя было названо, нельзя было и молчать. Я сказал всего несколько слов. «Ясно, — сказал я, — что хотя здесь говорят о диктатуре пролетариата, но задумано здесь устроить диктатуру над пролетариатом. Пролетариев даже и не спрашивают, чего они хотят, а прямо приказывают им только пользоваться какой-то “техникой”, которую будто бы можно вырвать у деятелей искусства. Но, если правда, что пролетариат эмансипировался — то он вас не послушается, и вовсе не погонится за “техникой”. Он так же, как и мы, захочет постичь сокровенную сущность великих творцов в области науки, искусства, философии и религии. Ураган, о котором здесь говорилось, может быть, смел и засыпал многое, даже и “V век эллинской культуры”. Но бывали — и не раз — ураганы, которые сметали и засыпали этот век еще основательнее. А потом являлись люди и с величайшим напряжением откапывали малейшие следы эллинского творчества, сохранившиеся под развалинами». — Сказал и ушел, ибо отлично знал, что такие слова теперь в России не нужны тем, кто собирал нас для «беседы» на тему о диктатуре пролетариата⁴. Но, как на этом заседании, так и на других подобных, равно как из чтения советской литературы, для меня с несомненной очевидностью подтвердилось то, что с 25 октября 1917 года, т. е. с момента большевистского переворота, было несомненно: большевизм — глубоко реакционное движение. Большевики, как и наши старые крепостники, мечтают о том, как бы вырвать европейскую «технику»,

но освобожденную от всякого идейного содержания. Идейного содержания у наших чиновников, царских и большевистских, своего собственного — хоть отбавляй. «Нам только “техники” не хватает — и ее мы добудем силой. Поголодают у нас художники, поэты и ученые и станут творить по нашей указке. Наши идеи и их уменье — вот, когда хорошо будет». Трудно придумать что-либо нелепее этого. Но так было в России XVIII и XIX века, так обстоит и сейчас. Непросвещенные, бездарные и тупые люди облепили тучами большевистское правительство, превращают в карикатуру даже то, что есть у большевиков лучшего и достойного. Громкие, луженые глотки на всех перекрестках выкрикивают пошлые и нелепые слова. А большевики идейные, голубоглазые недоумевают и огорчаются: как это случилось, что все хамское, бесстыдное и пошное, что было в России, пошло с ними и почему у них так мало стоящих людей! Так же недоумевал Николай I, когда смотрел «Ревизора» Гоголя. Но, говорят, что он все же чувствовал свою вину. Будто бы после окончания спектакля он сказал: «Ну и комедия, всем досталось, — а мне больше всех!». Правда, передают, что и Ленин даже публично заявил, что большевики устроили «сволочную революцию». Но так ли это, произносил ли он такие слова, мне проверить не удалось. Во всяком случае, *si non* и *vero*, и *bene trovato*⁵: печать хамства лежит на всей деятельности большевистской бюрократии.

VI

Несомненно, что сознательно или бессознательно, но рабоче-крестьянское правительство делает все от него зависящее, чтобы добиться диктатуры над пролетариатом. Да иначе, как для всякого европейца очевидно, — и быть не может. Я знаю хорошо, слишком хорошо, в какой бедноте жили русские крестьяне и рабочие. Но, к сожалению, этого не знают идейные большевики (присосавшиеся к большевикам в такой огромной массе прихвостни это знают) — причину этой бедности нужно искать прежде и после всего в политическом режиме нашей страны. Там, где нет свободы — русским людям необходимо, вставая и ложась спать, неустанно повторять это, казалось бы, общее место, — не может быть ни устроенности, ни благосостояния, там вообще не может быть ничего, что ценится людьми на земле. Только проникнутые до мозга костей крепостники старой и якобы обновленной России могут не знать этого трюизма. Я с уверенностью могу сказать: 25 октября 1917 г. должно считаться днем провала русской революции. Большевики не спасли, а предали рабочее и крестьянское население России.

Фразы, самые громкие, остаются фразами, а дела остаются делами. Русскому крестьянину и русскому рабочему, даже русскому образованному человеку, прежде всего нужно было получить звание гражданина. Нужно было ему внушить сознание, что он не раб, над которым издевается всякий, кому не лень, что у него есть права, которые он сам и всякий обязан оберегать. Это и провозгласило, как все знают, Временное правительство в первые дни своей деятельности. Но «права человека и гражданина», права, о которых целые столетия тосковала несчастная страна, остались только на бумаге. На деле через несколько месяцев начали восстанавливать старое бесправие. Большевистские декреты и многочисленные большевистские прокламации, засыпавшие всю Россию, были поняты и истолкованы населением как призыв к захватам и грабежам. «Бери, кто может и сколько может, потом поздно будет». Трудно описать азарт грабежа, охвативший всю Россию. Солдаты с фронта тысячами устремились по домам с котомками захваченной добычи. Бежали с возможной быстротой, чтобы не пропустить момента. Высокие слова о солидарности, об общечеловеческих задачах и проч., которыми в изобилии наполняли большевики свои воззвания, никем, конечно, не были услышаны. Народ убедился, что как прежде, так и теперь, нет права, а есть сила. Кто возьмет, тот будет иметь. И брали, ничем не стесняясь. За грабежами пошли убийства, истязания. О работе мало кто думал — да и зачем тяжелый труд, когда возможна легкая нажива. В атмосфере взаимного ожесточения и гражданской войны погасли последние искры веры в возможность осуществления хотя бы призрачной правды на земле. В маленьких городах и деревнях власть попадала в руки преступников и негодяев, прикрывавших свои волчьи аппетиты фразами о высоких задачах и призывавших к истреблению буржуев. А в Петербурге и Москве, где все-таки наряду с проходимцами и негодьями были люди, искренне веровавшие во всемогущество слова, шли бесконечные разглагольствования на тему о грядущем рае. Конечно, рай отодвигался все в более и более отдаленное грядущее. В настоящем холод, голод, эпидемии и все возрастающая взаимная ненависть. И уже не ненависть имущих к неимущим. Голодающий рабочий ненавидит равно и «буржуя», и своего же товарища рабочего, который умел или которому посчастливилось добыть лишний кусок хлеба или вязанку дров для голодной и холодной семьи. Но с особенной силой сказалась вражда между городом и деревней. Деревня «окопалась» — и наотрез отказывалась хоть что-нибудь давать изголодавшемуся городу. Рабоче-крестьянское правительство из сил выбивалось, чтобы найти хоть какой-нибудь *modus vivendi*⁶ для крестьян и ра-

бочих. Чтобы добыть у мужиков хлеб, приходилось отправлять в деревню карательные военные экспедиции, которые зачастую возвращались обратно не только с пустыми руками, но и не досчитываясь половины, а то и трех четвертей своих участников. Кто следил хотя бы только за большевистскими газетами, тот знает, что большевики никогда, в сущности, не владели Россией. Им были подчинены большие города, население которых, напуганное кровавыми расправами, более или менее безропотно сносило свою участь. Но деревня, т. е. девять десятых России, никогда не была во власти большевиков. Она жила своею жизнью, изо дня в день конечно, — но без всякого центрального начальства. До какой степени правительство большевиков не владело деревней — об этом лучше всего свидетельствуют статьи, которые печатал в киевских газетах украинский комиссар по продовольствию Шлихтер, человек очень преданный коммунистическим идеям, хотя, нужно признаться, тоже очень тупой и бездарный человек. Статьи его — большие и чрезвычайно обстоятельные — в течение двух месяцев появлялись чуть ли не через день в местных изданиях. И он не писал, а вопил не своим голосом. И все об одном. «Деревня хлеба не дает, не дает и дров, и сала — ничего не дает. Рабочие, если не хотите голодать и мерзнуть, вооружайтесь и идите войной на деревню. Иначе никаким способом ничего не получите». Если бы кто-нибудь другой так говорил — его можно было бы заподозрить в провокаторстве. Но Шлихтер вне всяких подозрений. Казак по происхождению, несмотря на свою немецкую фамилию, он только не умел скрывать своих истинных чувств и мыслей. Что на уме — то и на языке. Я думаю, что если бы его товарищи были так же откровенны, то давно стало бы очевидным, что рабоче-крестьянское правительство не умело расположить к себе ни рабочих, ни крестьян. И что коммунистические идеи, каковы бы они сами по себе ни были, встречают менее всего сочувствия в «широких массах» населения. Старая буржуазия, правда, не умела защищаться и разбита. Но буржуазия не только не умерла, повторяю, в России, но окрепла и расплодилась, как никогда. Вместе с тем большевистские приемы «охраны» интересов, столь знакомые и родные русской душе, — лишней раз показали, что люди, боявшиеся так, что Россию ждет то мещанское счастье, которым наслаждалась до войны Европа, что русским людям суждено на земле еще узреть царство Божие, мучились и тревожились совершенно напрасно. Сейчас уже идут из России вести о том, что там заводится трудовая повинность, десяти и двенадцатичасовой рабочий день, устанавливается сдельная плата, военный надзор за рабочими и пр. Вполне естественно! Рабочий не хочет давать

свой труд, крестьянин свой хлеб. А хлеба нужно много, труд должен быть каторжный. Ясно, что выход один: с одной стороны, должны быть неработающие, привилегированные классы, заставляющие других строгими беспощадными мерами сверх сил работать, а с другой стороны — непривилегированные, бесправные люди, которые, не щадя здоровья и жизни даже, должны нести свой труд и свое имущество на пользу «целого». Конечно, принуждать к труду может только тот, кто сам не работает. И к голоду принуждать только тот, кто сам сыт. Иначе — возврат к старому бесправию и к старой, так хорошо знакомой нищете. Или, как в сказке сказано, к разбитому корыту. Вот что принес большевизм, так много обещавший рабочим и крестьянам. О том, что он принес России — не стану говорить. Все знают. Но у «идейных» большевиков есть еще один последний аргумент. «Да, — говорят они, — русским мужикам и рабочим мы ничего не могли дать и Россию разрушили. Но иначе и быть не могло. Россия слишком отсталая страна, русские слишком некультурны, чтобы воспринять наши идеи. Но не в России и в русских дело. Наша задача — шире. Нам нужно “взорвать” Запад, уничтожить мещанство Европы и Америки. И мы будем до тех пор поддерживать пожар в России, пока пламя не перенесется к нашим соседям, а от них не распространится по всему миру. Вот в чем высшая наша задача, вот наша последняя заветная мечта. Мы дадим Европе идеи — Европа даст нам свою “технику”, свою умелость, организационный дар и т. д.» Это *ultima ratio*⁷ большевиков. Какая ему цена?

VII

За долгое свое пребывание в областях, находившихся под большевистским управлением, я подметил один очень любопытный факт. Лучше всего отгадывали и предсказывали события очень молодые и не очень умные люди. И наоборот, те, кто постарше и поумнее, всегда ошибались в своих предсказаниях. Им казалось, что Россия недолго будет под властью большевиков, что народ восстанет, что при первом появлении сколько-нибудь организованной армии большевистские войска растают, как снег на солнце.

Действительность обманула предвидение опытных и умных людей. Деникин создал все-таки нечто вроде армии и продвинулся с большой быстротой до самого Орла — но с еще большей быстротой большевики прогнали его до самого Черного моря. Теперь он, говорят, даже в плену — и ничего невероятного в этих слухах нет. Пророками оказались молодые и неумные. И сейчас, когда пытаешься заглянуть в будущее, — ставишь себе вопрос: на кого

положиться, на умных или на неумных? Умные, очевидно, исходят из того представляющегося им самоочевидным положения, что люди и народы в своих действиях руководствуются своими жизненными «интересами» и инстинктивно чувствуют, что им полезно и что вредно. Для них ясно было, что большевизм губителен, что он приведет к неслыханным бедам, к холоду, к голоду, к нищете, к рабству и т. д. Стало быть, говорили они, он не может долго просуществовать. Продержится недели, месяцы и сам собой погибнет. Но уже прошло больше двух лет, скоро будет три года и все же большевизм держится. Держится, хотя и голод, и холод, и эпидемии свирепствуют с ужасающей силой. Стало быть, не здравый смысл руководит людьми? И наш русский поэт, огорчавшийся так тем, что из голов русских все еще царь не изгнан, заблуждался? Но, скажут, это — русские, они могут примириться и с нуждой, и с беспорядком и с чем угодно. В России точно пророками являются очень молодые и не очень умные люди, Европа — дело иное.

Точно ли дело иное? Я бы не рискнул пророчествовать. Сейчас мы переживаем такую историческую эпоху, когда едва ли можно рассчитывать, руководясь одним здравым смыслом. Я не хочу оправдывать русский большевизм. Я уже говорил и готов еще раз повторить, что большевизм предал и погубил русскую революцию и, сам того не понимая, сыграл на руку самой отвратительной и грубой реакции. Но разве только большевики оказались самоубийцами? Присмотритесь внимательнее к тому, что происходило в последние годы. Все почти делали как раз то, что было для них наиболее ненужно. Кто погубил монархическую идею? Гогенцоллерны, Романовы и Габсбурги! В день объявления войны в Берлине распространился слух, что Вильгельм II послал Николаю II такую телеграмму: «Остановите мобилизацию. Если начнется между нами война, я потеряю свой престол, но и вы тоже». Может быть, такой телеграммы и не было. Но тот, кто пустил этот слух, оказался пророком. И, в сущности, злейший враг монархической идеи не придумал бы более верного способа, чтобы погубить монархию в Европе. Гогенцоллерны, Романовы и Габсбурги — если бы только их разум не затемнился каким-то наваждением — должны были бы понимать, что жизненные интересы их династии повелительно требуют от носителей императорских корон не вражды, а самой тесной, искренней и преданной дружбы. Николай I это отлично понимал и послал русских солдат усмирять венгерских революционеров. И Александр III это понимал. При нем все-таки существовал наряду с франко-русским союзом *Dreikaiserbund*⁸. А в 1914 г. монархи Европы вдруг набросились друг на друга во славу западноевропейской демократии, которую они ненавидели

больше всего на свете. Очевидно, какой-то рок тяготел над ними, и оправдалась российская поговорка: от судьбы не уйдешь. Когда народу написана гибель, люди и даже целые народы сами делают все, чтобы ускорить свою гибель. Мы переживаем явно какую-то эпоху затмения. Подумайте только о проделанной Европой войне. Все знали, каким ужасом она грозит миру. И все ее боялись. И тоже все, точно сговорившись, не только ничего не предприняли против предотвращения войны, но и каждый, сколько мог, сознательно или бессознательно, способствовал ее приближению... Ведь разразилась она в течение каких-нибудь двух недель и без всякого серьезного основания. Немцам вдруг показалось, что их экономические и культурные интересы требуют порабощения всего мира. И другим народам показалось, что их интересы — и т. д. Но теперь, думаю я, ясно всем, и немцам и не-немцам, что если говорить об «интересах» — то интересы требовали чего хотите, только не войны... Что война была противна всем интересам всех людей. И точно, если бы немцы истратили те средства и ту энергию, которую они вложили в войну, на задачи не разрушения, а созидания — они бы могли свой Vaterland⁹ обратить в земной рай. То же можно и о других народах сказать. Война обошлась в астрономическую сумму — больше биллиона франков. Я уже не говорю о погибших людях, о разрушенных городах и т. д. Повторяю, если бы правящие классы, в руках которых были судьбы их народов и стран, умели сговориться и заставить народы в течение 5 лет так самоотверженно и настойчиво работать для достижения положительных целей — мир превратился бы в Аркадию, где были бы только богатые и счастливые люди. Вместо того — люди пять лет истребляли друг друга и накопленные сбережения и довели цветущую Европу до такого состояния, которое иной раз напоминает худшие времена Средневековья. Как могло это случиться? Почему люди так обезумели? У меня один ответ, который неотвязно преследует меня с самого начала войны. Начало войны застало меня в Берлине, я возвращался из Швейцарии в Россию. Пришлось ехать кружным путем, через всю Скандинавию до Торнео и потом через Финляндию в Петербург. В Германии, конечно, я читал только немецкие газеты. И до самого Петербурга я, собственно, принужден был питаться немецкими газетами, так как не знаю ни одного из скандинавских наречий. И только когда стал приближаться к России, мне попались русские газеты. И каково было мое удивление, когда я увидел, что слово в слово русские газеты повторяют то, что писали немцы. Только, конечно, меняют имена. Немцы бранили русских, упрекали их в жестокости, своекорыстии, тупости и т. д. Русские то же говорили о немцах.

Меня это поразило неслыханно, и я вдруг вспомнил библейское повествование о смешении языков. Ведь точно, смешение языков. Люди, которые еще вчера вместе делали общее дело, сооружали задуманную ими гигантскую башню европейской культуры, сегодня перестали понимать друг друга и с остервенением только об одном мечтают — в одно мгновение уничтожить, раздробить, испепелить все, что в течение веков создали с такой настойчивостью и упорством. Точно бы все задалось целью осуществить идеологию тех русских писателей, которые, как я раньше рассказывал, считали своим гражданским долгом не допустить осуществления царства Божия на земле и прежде всего бороться против идеологии западноевропейского мещанства.

Цари все еще прочно сидели на тронах, но из людских голов, сразу, мгновенно, по какому-то волшебному мановению, цари были изгнаны. Я знаю, что такого рода объяснение сейчас не в моде, что библейская философия истории мало говорит современному уму. Но я не стану очень настаивать на научной ценности предлагаемого мною объяснения. Если хотите, примите его как символ только. Но это не меняет дела. Перед нами остается непреложный факт, что люди в 1914 г. потеряли разум. Может быть, это разгневанный Бог «смешал языки», может быть, тут были «естественные» причины — так или иначе, люди, культурные люди 20-го века сами, без всякой нужды, накликали на себя неслыханные беды. Монархи убили монархию, демократия убивала демократию, в России социалисты и революционеры убивают и почти уже убили и социализм, и революцию. Что будет дальше? Кончился период затмения, снял разгневанный Господь уже с людей наваждение? Или нам суждено еще долго жить во взаимном непонимании и продолжать ужасное дело самоистребления? Когда я еще был в России — я непрерывно предлагал себе этот вопрос и не умел на него ответить. В России мы иностранных газет почти не видели, а в русских газетах, кроме непроверенных и ни на чем не основанных слухов и сенсаций, ничего не было. Но общее впечатление у нас было такое, что Европа все-таки понемногу справляется с трудным положением и, пожалуй, выйдет из него победительницей. Иначе говоря, мне казалось, что в России, благодаря ее некультурности, Богу и теперь, как в отдаленные библейские времена, удалось смешать языки и довести людей до полного одичания, но в Европе люди вовремя спохватились, одумались и перехитрили Бога; что в Европе снова началось сотрудничество людей и народов, и что вавилонской башне современной культуры суждено еще продолжать достраиваться вопреки воле Всевышнего. Или, выражаясь не символами — все мечтания истинно русских самосжигателей

о том, чтобы взорвать старую Европу, разобьются о традиции здоровой и прочной политической и экономической и социальной устойчивости. Прав ли я был? За короткое время моего пребывания на Западе я еще недостаточно ориентировался, чтобы проверить свои суждения. Но вопрос, кажется мне, поставлен правильно. Для меня несомненно, что большевизм, который русские социалисты считают делом своих рук, создан силами, враждебными всяким идеям прогресса и социальной устроенности. Большевизм начал с разрушения и ни на что другое, кроме разрушения не способен. Если бы Ленин и те из его товарищей, добросовестность и бескорыстие которых стоят вне подозрений, были настолько пронизательны, что поняли бы, что они стали игрушкой в руках истории, которая их руками осуществляет планы, прямо противоположные не только социализму и коммунизму, но убивающие в корне и на многие десятилетия возможность какого бы то ни было улучшения положения угнетенных классов, они бы прокляли тот день, в который насмешливая судьба передала им власть над Россией. И, конечно, поняли бы тоже, что их мечта взорвать Европу — если ей суждено осуществиться — будет знаменовать собой не торжество, а гибель социализма и приведет исстрадавшиеся народы к величайшим бедствиям. Но, конечно, Ленину не дано это увидеть. Судьба отлично умеет скрывать свои намерения от тех, кому их знать не полагается. Она обманула монархов, обманула правящие классы Европы, обманула и неопытных в государственных делах русских социалистов. Суждено ли и Западу стать жертвой иллюзии и испытать участь России, или судьба уже насытилась человеческими бедствиями — на этот вопрос может ответить только будущее, пожалуй, не столь уже отдаленное. В России очень молодые и не очень умные люди уверенно предсказывают, что большевизм распространится по всему миру.

Женева, 5. III. 1920

